

ИЛЬЯ ОКАЗОВ

## **ДОМЫСЛЫ**

История - полуподземный храм,  
Десятков тайн безмолвная могила...  
Домысли же незнаемое сам  
И сделай вид, что так оно и было.

Май 1986 г.

ОТ АВТОРА .....	2
ОТКРОВЕНИЕ ГИЛЬГАМЕША .....	3
ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ .....	7
ИМЯ .....	11
СМЕРТЬ СТАРОГО ПЛОТНИКА .....	12
ТРАГЕДИЯ ЗИГФРИДА.....	16
ВОЗВРАЩЁННАЯ СТРЕЛА.....	20
ПЕРВЕНЕЦ .....	23
КОРОЛЕВСКАЯ ТЮРЬМА В СЕВИЛЬЕ.....	28
ЧЕЛОВЕК И СТЕНА.....	30
ПЕРЕСМОТР .....	33

## ОТ АВТОРА

Если бы читатель начал эту книгу с середины, где к большинству вещей даются пояснительные введения, то это предисловие было бы ненужным: он сам понял бы принцип построения этих рассказов. Однако они расположены как бы по хронологии, и потому первое введение я помещу здесь.

Рассказы этой книги представляют собою придуманные мною ответы на исторические или литературные загадки: почему Гедимин не завещал престол старшему сыну? почему плохой литератор Мигель Сервантес написал замечательный роман? почему Фридриха фон Тренка, "великого узника", на старости лет понесло навстречу гибели в революционный Париж? В других рассказах я пытался оправдать или объяснить историческую "несправедливость": почему, собственно, Зигфрид - герой? почему имя Герострата мы знаем, а имя архитектора храма Артемиды Эфесской - нет? В третьих я пытался раскрыть психологию героя или времени - Гильгамеша, современников Христа, аббасидских халифов и эллинских героев времён упадка; наконец, пробовал исправить сюжеты неудачных произведений на благодарную тему - например, "Соратников Иегу" Дюма-отца.

Разумеется, никакой научной ценности мои домыслы не имеют; надеюсь, однако, что некоторые из них заинтересуют читателя и покажут ему знакомые сюжеты, события и факты с новой стороны.

## ОТКРОВЕНИЕ ГИЛЬГАМЕША

Гильгамеш – на две трети бог, на треть человек он шагал по горячей от солнца дороге с края света, где обитал бессмертный Ут-Напиштим, к родному своему городу Уруку. Его мускулистые ноги вздымали качающееся в такт шагам облачко пыли, а в руке был зажат алый Цветок Бессмертия, полученный за океаном, на краю земли. Цветок этот и был ой целью, ради которой Гильгамеш предпринял всё это опасное путешествие; впрочем, он не боялся опасностей, даже когда, сидя над остывшим телом своего друга и соперника, верного Энкиду, постиг, что и сам он смертен, что человеческое в нём требует своего и божественные две трети не спасут от кончины – не сейчас, так потом. Переплыв в Солнечной ладье океан, повстречавшись с грозным и загадочным человеко-скорпионом, потолковав с гостеприимной Сидурри и мудрым Ут-Напиштимом, он достиг желанного и шёл теперь, гордо и радостно подняв голову и уже чувствуя себя бессмертным, а Цветок, невзирая на палящее солнце, сиял и благоухал в его огромной, со вздутыми венами, мохнатой руке, как прежде в Блаженной стране.

Но то ли солнце было слишком горячим, то ли Гильгамеш утомился после путешествия, во время которого он проходил за день двадцатидневный путь, то ли он, уверясь в грядущем бессмертии, впервые позволил себе расслабиться и даже почувствовать себя нехорошо, – так или иначе, перед его взором стояла красная пелена, и за нею смутными тенями виделась ему будущая его Вечная Жизнь. И хотя Гильгамеш понимал, что ещё успеет насмотреться за тысячелетия, но всё же невольно начал вглядываться в эти картины. Они становились всё отчётливей, и, наконец, в одной из фигур Гильгамеш узнал себя.

Он сидел, могучий и квадратнобородый, в львиной шкуре и с бычьим рогом в руках, на камне, посреди города Урука, а рядом хоронили его мать Нинсут – ту, что дала ему человеческую треть жизни, нашла ему потом достойного советника и друга, дабы обуздать разгул молодой силы и удали сына, дала столько добрых советов – и казалась ему такой же вечной, как сам Урук. О её смерти он как-то не думал никогда, хотя и понимал после смерти Энкиду, что эта доля не минует никого (кроме владельца Цветка Бессмертия). Теперь его двойник в красном мареве пытался приподняться со своего камня и в последний раз припасть к телу матери – но у него не хватило на это сил, а может быть, духу.

Затем он увидел огни и услышал лязг грядущих сражений – вначале он принимал в них участие, потом отошёл и решил

предоставить войнам идти своим чередом – он слишком стар, да и не соразмерны были эти битвы с уничтожением им Хумбабы Кедрового и Небесного быка. И он увидел, как на его родную шумерскую землю потоком хлынули длинноносые аккадцы, как пал Урук, а он не смог – или поленился – его защитить, как в новой столице всего Двуречья Вавилоне царь Хаммурапи провозглашает полученные им от Солнца-Шамаша законы, по которым любой подвиг Гильгамеша оказался бы преступлением – и Шамаш, Энлиль и даже Инанна, которую теперь звали Иштар, благосклонно кивали, слушая эти трусливые законы, запрещающие богатырство всем, кроме жалкого щуплого царя.

– Боги! – хотел вскричать Гильгамеш. – Неужели вы допустите это?

– Допустим, допустим, – зашелестели в ответ ему боги совсем не божественными голосами, – мы не хотим новых богатырей, а то они возомнят себя богами и впрямь займут наше место. Ты-то стар, ты не сделаешь этого, к чему бунтовать, сиди и смотри на свою страну...

А потом Гильгамеш увидел, как ниневийский царь Ашшурбанипал, прославляя его и приказывая записывать на глиняные таблички всё, что касается подвигов Гильгамеша Великого, сам считает себя преемником и подобием давно забытого героя и по мере сил повторяет его подвиги – стреляет во львов, которых выгоняют из клеток прямо под царские стрелы и копья телохранителей и егерей, и накидывает на плечи их шкуры. Гильгамеш вспомнил, как он сам разорвал льва пополам, но и вспомнил уже как-то смутно – перед глазами стояли каменные рельефы, на которых были увековечены не него, настоящие подвиги, а трусливое подражание им – подвиги Ашшурбанипала.

А затем он увидел, как человек с отрезанными ушами и носом, в плаще полководца, сжигает Вавилон, преемник Урука, и срывает его стены. Пламя летает над городом, словно огромная птица, и Гильгамеш хочет помочь своим сомнительным потомкам, но не в силах справиться с огнём.

– Боги! – взывает он. – Эа, Эллиль, Мардук, спасите же свой город!

Но Мардук, хранитель Вавилона, отвечает ему грустно:

– Я хранил его века и тысячелетия, но персидский огненный бог сильнее меня. Персия теперь будет властвовать над миром, и мы, старые боги этих мест, подчинимся Ормузду и признаем – на словах – себя несуществующими.

И Гильгамеш впервые испугался, ибо такого не бывало никогда, а уж если боги решились на подобное, то что же остаётся ему, богу всего на две трети?

Сидя на своём камне, он продолжал смотреть на странные картины, предстающие перед ним (и в то же время шагал по жаркой

дороге с края света в Урук, сжимая Цветок Бессмертия); он увидел, как персидский бог сжался, потух, рассыпался горячим пеплом перед новым царём, пришедшим с Запада, разгромившим персов и снова возвеличившим Вавилон. Этот царь объявил себя богом, но Гильгамеш отлично видел, что в нём нет и тех двух третей божественного начала, какими обладал он сам. И когда этот гордец умер от лихорадки или же яда, Гильгамеш не пожалел его, как не жалел и тех полководцев, которые начали соперничать после смерти своего вождя и проливать кровь друг друга меж Тигром и Евфратом, так что и тех снова поднялась до прежнего уровня иссякающая вода.

И ещё века прошли, а Гильгамеш всё сидел на камне, не имея ни сил, ни воли встать и поднять свою палицу, – и вот он увидел всадника на верблюде, с головою, обмотанной длинным куском зелёной ткани. Он привёл огромную рать с юга, из пустыни, и сокрушил и западных богов, принесённых самозванцем, и возродившегося персидского огненного Ормузда, и провозгласил: «Бог един, невидим и неосязаем, и нет бога кроме Бога, и Я пророк его!» В этом человеке тоже было не меньше двух третей божественного, но слова его были ужасны, и Гильгамеш снова воззвал к небу:

– Мардук, Ану, Астарта (так теперь звали Инанну), где вы?

Но боги не явились ему, и лишь слабый женский голос – знакомый ему издавна голос Инанны – прошептал:

– Мы умерли, Гильгамеш, нас больше нет, мы исчезли, уступив своё место Аллаху.

И тогда Гильгамеш встал со своего камня и, сделав несколько шагов, рухнул навзничь, не в силах устоять на ногах; он был жив, но жизнь его уже тысячи лет была пустой и бесплодной.

И он правда упал на горячий песок у самого берега какой-то реки – может быть, это был уже Тигр. Больше всего ему хотелось выкупаться и сбросить тяжесть этого странного видения, но он опасался оставить Цветок Бессмертия на берегу.

«Но ведь кругом никого нет, – сказал он себе, – никто не покусится на мой Цветок, даже Инанна, хотя и ненавидит меня за то, что я отверг некогда её любовь и убил её Небесного Быка. Мне нечего бояться, никто не знает, сколь чудесен этот Цветок, да и кто решится взять его, если даже меня – меня, Гильгамеша Неустрашимого – он пугает... нет, не пугает, но всё равно же его никто не похитит...»

И, сняв свои пятицветные одежды и прикрыв ими Цветок, он бросился в холодную воду. Волны перекачивались через его богатырские плечи, и он глотал зелёную влагу и слушал ропот и глухие удары валов. Вокруг было безветренно, но валы ходили и гудели всё громче:

– Гильгамеш, Гильгамеш, ты бросаешь нас!

И он узнал голос матери, и голос Энкиду, и голоса тех, кто ещё не родился на свет, а только являлся ему в видении живущим и

потом неотвратно гибнущим, с кем он хотел бы, но не мог поделиться своим бессмертием.

– Гильгамеш, Гильгамеш, ты предал нас, ты продал нас! – шумели они.

– Боги свидетели! – вскричал он, – я продал вас за самую большую в мире цену!

– Как знать, как знать! да и что нам с того?

Гильгамеш выскочил из воды и, всё же освежённый и набравший сил, хотя и утомлённый голосами смертных, подошёл к своим одеждам и накинул их на плечи. Цветка под ними не было – вместо него лежал змеиный выползок, и от него тянулся глубокой песчаной бороздкой след змеи и мелкой и тонкой – след унесённого ею Цветка. И Гильгамеш с ужасом и горем, но в то же время и с каким-то облегчением понял, что его бессмертие пропало навеки. Он рухнул на землю, припав лицом к песку, и зарыдал первый раз в жизни. Пески колыхались от его рыданий, и река набухла пролитыми слезами, но с каждым мгновением ужас и горе становились меньше, а облегчение – больше. Теперь он не был предателем, ему не предстояло больше стать ничтожнейшим из бессмертных, он оставался величайшим смертным. И это было больно и радостно.

Через два часа он поднялся, посмотрел на солнце, грустно улыбнулся и пошёл своей дорогой, к городу Уруку, ещё не зная, что не дойдёт до него, а наступит по пути на ядовитую змею и погибнет...

## ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

– Да чего ты, собственно, кипятишься, Орест? – спросил недоуменно Неоптолем. – Нервный какой-то. Можно подумать, что это тебя, а не меня контузило под Троей.

– Я убил мать, – ответил Орест, глядя в одну точку.

Они сидели на кухне Микенского дворца и хлебали холодный суп – после недавних мрачных происшествий и гибели Клитемнестры кухарка взяла расчёт, а стряпала сама Электра; разогреть должен был Орест, но он вообще ничего не делал последнее время, погружённый в переживания. Даже суп, по правде сказать, хлебал один Неоптолем, который никогда не отказывался от еды и всегда говорил, что под Троей приходилось питаться и кое-чем похуже.

– Ну, убил, – пожал он плечами под доспехом Ахилла, – ну и что? Ты мстил за отца, кто же этого не поймёт. За отца мстить надо обязательно. Я вот Париса в живых не застал, но по крайней мере всю Троию спалил. Где, интересно, сейчас Филоктет со своим луком?

– Кажется, Пилад говорил, что он уехал лечиться в Италию, – рассеянно ответил Орест.

– Сбежал, значит, с луком вместе. Ну и ладно. Лук – подлое оружие. Парис вообще был подлецом. Вот копье, меч – оружие благородное!

– Будь он проклят, Парис! – воскликнул Орест и выругался. – Всё из-за него.

– Ну, что значит из-за него, – рассудительно произнёс с набитым ртом Неоптолем. – Тогда уж всё из-за Елены. Вот отца моего он убил – это да, а всю войну на него валить незачем.

Он был недоволен, что сам завёл разговор о троянце, которого убил не он, хотя полагалось бы именно ему.

– Да, Парис только своё взял, – задумчиво проговорил Орест, и глаза его сверкнули, – Вернее, чужое. Во всём, действительно, виновата Елена. Это теперь она притворяется, что ни при чём, что жила всё время в Египте, а воевали из-за её призрака...

– Ну, это бредни, – вставил Неоптолем. – Я тоже слышал, как Менелай об этом рассказывал: выходит он, мол, на берег Нила с Еленой Троянской, глядь, а ему навстречу – Елена Спартанская. Он на первую обернулся, а та побледнела вдруг, как облачко, и растаяла в воздухе. Чушь! В наше время чудес не бывает, это он сочинил, чтобы на его Елене злобу не сорвали. Что Парис? Сучка не схочет...

Не договорив, он извлёк из рыжей бороды паразита, осмотрел его и умертвил. Это тоже входило в образ старого рубаки.

– А, пожалуй, ты прав, – медленно произнёс Орест. – Недаром она моей матери сестрою была. Из-за них это – одна войну развязала, а другая... – и он махнул рукой.

– Ну, что значит – развязала, – ещё рассудительнее заметил Неоптолем. – Война всё равно была бы. Чтобы при таких людях, как мой отец да твой отец, – и не произошло войны? Где же тогда подвиги совершать? Чудовища уже перевелись...

– Подвиги – не самое главное, – возразил Орест, явно погружённый в какие-то свои мысли.

– Что значит – не самое? – возмутился его собеседник. – Это ты никаких подвигов не совершил – Эгисф, это разве подвиг? – вот и судишь обо всём со своей колокольни. Мужчина должен совершать подвиги. Сразу видно, что не было тебя под Троей...

Однако Орест не дал ему насладиться воспоминаниями о своём геройстве; ему что-то пришло в голову.

– Так всю кашу заварил Елена? – медленно спросил он.

– Ну да.

– Значит, мстить-то надо ей...

– Ну, брат, тут у нас разные точки зрения, – заявил Неоптолем, отодвигая пустую миску. – Я так считаю: мстить бабам – только если больше уж совсем некому. Что твоя мать без Эгисфа сделала бы? Что твоя сестра – без тебя? Кстати, где она?

– Ушла куда-то, – раздражённо ответил Орест. – С Пиладом. Она теперь всё время с ним ходит. Он со мною совсем не видится.

– Бедняга! – протянул Неоптолем. – Видал я твою сестрицу – боже сохрани! Это тот же нрав, что у моей Гермियोны, да ещё к тому же почти те же года, что у моей Андромахи. Горе с этими бабами – вот и меня из дому выжили, иду на Юг, Египет завоевывать.

– Делать тебе нечего, – буркнул Орест.

– Конечно, нечего. После Трои, по правде сказать, никакое дело – не дело.

– Во всём виновата Елена, – повторил Орест. – И Менелай тоже – если бы не он, войны бы никто не начал, что там Одиссеев договор, кто бы на него посмотрел.

– Ну, тут ещё большая заслуга твоего отца, – возразил Неоптолем. – Он, в конце концов, всеми вертел, кроме Ахилла. А ведь кабы не Атриды с их пропагандой, может, и отец бы так и остался на Скиросе среди баб – он-то сам к Елене не сватался, так что ему нужно было приглашение, – и я... да что говорить!

– Значит, нужно мстить Елене и Менелая, – решительно заключил Орест. Неоптолем развёл руками:

– Да что ты, ей-богу! Женоненавистник какой-то. То-то я слышал, что вы с Пиладом...

Разговор мог обостриться, но в это время старая служанка, качавшая на руках ещё Агамемнона, просунула голову в дверь и প্রশамкала:



– Барин, к вам какой-то малый просится, говорит, царевич. Одет, как нищий, но так, вроде, воспитанный.

– Впусти! – распорядился за Ореста гость. – Это же, небось, Телемах!

Он расхохотался. Воспитание Телемаха уже вошло в поговорку.

И в самом деле, это оказался сын Одиссея. Он застенчиво вошёл и присел на краешек скамьи.

– Похлёбки хочешь, приятель? – спросил Неоптолем, окончательно войдя в роль гостеприимного хозяина.

– Нет, спасибо, – ответил тот, – я уже позавтракал.

– Да скоро ужинать пора будет!

– Нет, спасибо. Ментор говорит, что много есть...

– Ну, как хочешь. Какими судьбами тебя сюда занесло?

– Я ездил к Менелаю, – ответил Телемах. – Мне предсказали, что отец скоро вернётся.

Неоптолем с жалостью посмотрел на него:

– Да какое там вернётся, уже десять лет как сгинул. Пойми ты, пропал он наверняка. Понимаю – горько, но всё же таким отцом можно только гордиться. Настоящий герой Троянской войны!

– Не говори об этом, – отмахнулся Телемах. – Если бы не его выдумка, ну, о круговой поруке, может, и войны-то не было бы...

– Ну и что? – разинул рот Неоптолем, – и очень плохо, если б не было.

– Что ты, Ментор говорит – худой мир лучше доброй войны, а доброй войны и не бывает. Вот – Троику разорили, у нас на Итаке бог знает что происходит...

– На Итаке... Ты бы лучше попросил у Менелая солдат и вымел всю эту шушеру с вашего островка. Крысы тыловые! Хочешь, я их всех перебью – ты-то не сумеешь, куда тебе!..

– Не надо, – торопливо ответил Телемах, – не надо новой войны. Я не хочу, чтобы из-за меня всё началось сначала.

– Не хо-очешь! – протянул Неоптолем. – В сторонке остаться собираешься, трус несчастный! А ведь мы трое – что ни говори, последние эллины, дети трёх самых великих людей своего времени. Ещё Астианакт подошёл бы, ну да я его десять лет назад – головой об стенку! Не морщись, не морщись, Телемах, тебе не понять, что чувствует солдат в павшем городе! Я мстил за отца!

Орест вскинул на него ненавидящие глаза:

– Кому ты мстил, Неоптолем? Детям, да старикам вроде Приама, да ещё кому-то, кто тоже ни при чём, – не они же твоего отца убили!

– Не надо, не говори, – испуганно шепнул Телемах, но Неоптолем уже упёрся:

– Что ты говоришь? Не было тебя там! Они из каждого дома стреляли! Жалеть их!.. А что Париса до меня убили, так это вот его отцу надо было раньше поехать за мною на Скирос...

Телемах только облегчённо вздохнул, но Орест упрямо гнул своё:

– Да ведь не Парис его убил.

– Как это?

– Ты что, не помнишь – стрела-то была золотая. А у кого они золотые, у Париса, что ли? Да он такой и не дострелил бы...

Неоптолем, нахмурившись, медленно поднялся:

– Так вот оно что... Я бы и не сообразил. Ну Орест, ну голова! То-то Гермiona намекала... Чёрт-перечёрт!

– Да это все знают, – насмешливо воскликнул Орест. Все знают, что пока ты столетнего Приама рубил да трёхлетнего Астианакта разбивал, Он смеялся над тобою и над Ахиллом тоже!

– Замолчи, слышишь, заткнись! – рявкнул Неоптолем. – Его-то никакой Филоктет не убивал, всё ещё можно исправить. Я иду в Дельфы!

Телемах тихо ахнул, но Неоптолем услышал и повернулся к нему:

– Чего заахал, щенок? Трус! Ханжа несчастный! Ты-то не знаешь, кому мстить, даже этот сброд со своей Итаки вымести не можешь, пацифист сопливый! Кто бы Он ни был – бог ли, чёрт ли, а за отца я отомщу! И ты, Орест, прав – с Менелаем надо кончать! И с Еленю заодно. Кстати, моя Гермiona – их законная наследница. А у нас с нею, может, ещё дети будут.

Он снова оборвал неприятную тему и зашагал взад-вперёд: его блестящий брак был бесплодным, и представитель славного рода очень переживал.

– И кончу, – твёрдо сказал Орест. – И кончу! Если бы не они...

– Послушай, – перебил Телемах, – но их же больше нет!

– Как – нет? – остолбенел Орест.

– Я же только что с похорон Менелая, он и умер при мне.

– Отчего?

– Да от той же войны проклятой – старые раны. Лежит он, умирает и шепчет: скажи Оресту, пусть приходит и берёт всё – это его. И Неоптолему, говорит, передай. Передай, говорит: я не хотел. И умер. Я поворачиваюсь к Елене – а она побледнела, побледнела, как облачко, и исчезла, словно и не было её...

– Что же, – проговорил Неоптолем, немного бледный, но исполненный решимости, – вернись из Дельфов – займись. Не повезло тебе, Орест-мститель. Прощай!

Он вышел, а Орест ещё долго смотрел на огонь в очаге, и Телемах, последний из последних эллинов, не смел заговорить с ним. И мифическая древность тихо и незаметно таяла, как Елена. Оставалось уже совсем немного – гибель Неоптолема, возвращение Одиссея и Ифигения Таврическая...

## ИМЯ

Я умираю. Пора, и я не горюю об этом. Восемидесяти лет достаточно для человека. Но мне горько уходить. Не потому, что я умираю не в Афинах, где впервые увидел свет, а почти в Азии, нет. За шестьдесят лет я привык к Ионии, привык к Эфесу, сроднился с городом, с которым связано мое творение, моя любовь – мой храм. И если бы у меня были силы, я вслепую мог бы пройти по всем улицам Артемидина Града, не заблудившись среди лабиринта одинаковых улиц с одинаковыми домами и одинаковыми голосами торговцев рыбой... А Афин я уже не помню, как не помню отца и матери, потому что храм не давал мне времени на воспоминания, подчинив себе мое тело и мою душу. Он заменил мне отца (завидная возможность переделывать то, что не нравится в отце!), а его владычица – мать.

Не то тяжело, что младшие братья забыли меня, не то, что я ослеп уже десять лет назад и не увидел глазами свой храм законченным, – нет, я вижу его мысленным взором, слышу, как хвалят его, хвалят, не помянув моего имени, и это заменяет мне жалкое земное зрение, глаза – эти подмастерья разума. Что же до братьев, то ведь и у меня никогда не находилось времени для них – я воздвигал свой храм, который должен был прославить и меня, и их, и вас, дети мои.

Но мне больно и горько думать, что никто через десять, пятьдесят, сто лет так и не будет знать и помнить моего имени, имени создателя храма Артемиды Эфесской, имени, достойного бессмертия, которое я ему покупал ценою трудов и дней – лет, десятилетий!

Сынок, подойди ко мне. Подойди и положи руку мне на грудь. Послушай... У тебя есть дети и внуки, но когда-нибудь наш род исчезнет... Так пусть... может статься, разрушение сильнее созидания.... Пусть последний в нашем роду... разрушит созданное... Пусть... его назовут... моим именем... Я всё сказал, мне пора... Смерть! я тебя дожда...

В день, когда у царя Филиппа в Македонии родился сын, которого называли Александром, за морем, в Эфесе был сожжен храм Артемиды. Имя поджигателя приказано было забыть, но его помнят и по сей день.

## СМЕРТЬ СТАРОГО ПЛОТНИКА

Плотник Иосиф из Назарета совсем состарился. Ему было уже трудно работать, но так как он не знал притчи о птицах небесных и о лилиях, которые не прядут, то полагал, что кто не работает, тот не ест (в своё время он заявил об этом одному молодому человеку из Тарса), и продолжал заниматься своим ремеслом. Впрочем, Иосифу помогали два его сына: Иаков-фарисей и Иуда-саддукей. Иаков был хорошим плотником, человеком благочестивым и очень строгих правил: он редко ходил в баню, по субботам работал только одной рукой и ведро у колодца привязывал не верёвкой, а поясом. Второй же сын Иосифа, Иуда, немного подсмеивался над братом, хотя на людях соблюдал все приличия. После бегства в Египет Иуда задержался там, получил в Александрии хорошее образование и не верил ни в ангелов, ни в чертей, ни в воскресение во плоти, зато читал Пифагора и Аристотеля. Вернувшись в Назарет, он зарабатывал писанием прошений к наместнику по-латыни, и зарабатывал хорошо

– Мария, – сказал как-то плотник Иосиф своей жене, Пресвятой Богородице, – ты помнишь Симеона, друга моего отца, который никак не мог умереть? Я устал почти так же, хотя и моложе его, и мне всего сто десять лет. Я хочу пойти в Иерусалим, посетить Соломонов Храм и попросить у Господа Бога разрешения умереть.

– Тебе трудно будет в пути, – возразила Дева Мария, – такая длинная дорога тяжела для твоих ног, мой обручник (она никогда не называла его мужем, кроме как на людях).

– В крайнем случае я умру по дороге – мне уже всё равно, – ответил Иосиф. Мария собрала ему котомку, и он отправился в путь.

Два месяца он не появлялся, и домашние очень волновались. Наконец, Иосиф вернулся спокойный и радостный, но он действительно очень устал и сразу лёг в постель, а Пресвятая Богородица и сыновья собрались возле него.

– Ты достиг Иерусалима? – спросил Иаков. – Ты видел Храм? Самому ему давно хотелось увидеть Храм, но всё не доводилось.

– Да, – ответил Иосиф, – я пришёл к Храму, прошёл мимо меня и торговцев на паперти и простёрся ниц. Я молился и вопрошал Господа очень долго, но Господь был занят и не ответил мне. А когда я уже вышел на улицу, передо мною предстал красивый молодой человек в золотых латах и сказал: «Здравствуй, Иосиф, я архангел Михаил. Извини, что задержал тебя. Сейчас у Господа нашего очень много дел, а предстоит ещё больше, так что мы совсем о тебе забыли.

Конечно, ты можешь умереть, если хочешь, а если не хочешь, то поживи ещё». – «Я очень устал, – ответил я, – так что лучше уж умру, но только, если можно, у себя в Назарете». – «Пожалуйста», – молвил архангел и исчез. И вот я здесь.

– Ты удостоился великой чести, – сказал Иаков, которому всегда было обидно, что Пресвятая Дева видела Архангела при Благовещении наяву, а отец – только несколько раз во сне. Теперь он надеялся и сам удостоиться такой встречи, тем более что считал себя не менее праведным, чем отец, а Писание знал гораздо лучше.

– Я не уверен, что это был ангел, – заметил Иуда, который, как и все саддукеи, был либералом и вольнодумцем, – может статься, это просто оказался гарнизонный офицер, или тебе показалось. Но, как бы то ни было, ты видел и слышал его, а это главное.

– Да, – кивнул Иосиф прежде, чем старший сын и Дева Мария стали бранить Иуду, – это главное. Теперь я скоро умру, и мне надо сделать некоторые распоряжения. За тебя, Иуда, я не беспокоюсь, потому что у тебя есть огород и ты владеешь несколькими языками. Мастерскую я оставлю Иакову, потому что он старший и ещё потому, что он хороший плотник, так что даже в Иерусалиме, когда узнали, чей я отец, ему прислали заказ из дворца как лучшему краснодеревщику: сделай три кресла и ложе для молодого царя Ирода – или для его придворных, ибо даже сам царь не может сидеть на трёх креслах сразу.

– А как быть с заказом наместника на партию крестов? – спросил Иаков. – Впрочем, Иуда договорится об отсрочке, а я никогда не любил такую работу.

Тут Пресвятая Богородица подняла голову и спросила Иосифа:

– А не встречал ли ты нашего Иисуса? Говорят, он сейчас как раз в Иерусалиме.

– Да, – ответил Иосиф и покраснел, – видел я твоего Иисуса. Он бродит по городу во главе кучки рыбаков, конторщиков, сапожников и каких-то совсем уж тёмных личностей, занимается медициной, что само по себе хорошо, однако рассказывает какие-то странные вещи, которые, видимо, слышал от покойного Иоанна, и его приятели славят его как Сына Божия. Я подошёл к нему, чтобы предостеречь от таких речей, и сказал: «Здравствуй, Иисус, привет тебе от матери и братьев»; но он взглянул на своих друзей и подруг и заявил: «Вот мои братья и сёстры». Тогда я не стал растолковывать этим людям (которые очень обрадовались его словам), что я его отец, предвидя, что мне на это ответят, и только вздохнул: «Ох, Иисус, кончишь ты так же, как Иоанн, если и дальше пойдёшь по это дорожке». Тогда его друзья и пациенты закричали на меня, а он спросил: «Что есть конец?» Я махнул рукой и ответил: «Ну, Бог с тобой», что очень всем понравилось, и пошёл в Храм молиться. Честно говоря, Мария, мне не нравятся все эти слухи о нём – не ты ли их пустила? И ещё больше не нравится, что он нас знать не хочет.

– Ты не прав, отец, – возразил Иаков-фарисей. – Ты же помнишь, что Гавриил-архангел сказал нашей мачехе про Иисуса: «Он будет велик, и наречётся Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, и Царству Его не будет конца». Ведь ты же веришь Марии, не могла она это придумать. А потом ему поклонились пастухи и волхвы, и новая звезда зажглась, а это не каждый день бывает. Ты говоришь, что он предпочёл своих новых друзей нам – так надо и нам стать его друзьями. Ибо это очень хорошо, что он снискал такой успех в столице, и все его признали; он свергнет царя Ирода, воссядет на престол Иудейский и, если господь не отступится от него, прогонит римских захватчиков и всех подлых язычников из земли Израиля. И царству его не будет конца, а когда он умрёт, то, наверное, воцарится его сын – ведь должен у Царя Иудейского быть сын! – и станет властвовать столь же праведно и грозно. Подобно Маккавею, он вновь сокрушит язычников. Ему поможет весь честный народ и ангелы Господни, а по воскресении во плоти Его первые сподвижники воссядут одесную от Него в раю. Поэтому нам следует отправиться в Иерусалим и поклониться Ему, как Сыну Всевышнего (это, конечно, может быть и иносказанием, но я могу указать в Писании много мест, где есть намёки на нечто подобное) и Освободителю Иудеи, подобно Моисею и Навину.

– А когда ты будешь делать кресла? – спросил Иосиф-плотник, считавший, что каждый всё-таки должен делать своё дело, но Иудасаддукей перебил его:

– Безусловно, – сказал он, – отец ошибается, но и ты, Иаков, не менее того. Во-первых, не следует всё время ссылаться на Благовещанье, потому что Гавриил (или Гермес, как его называют эллины) сказал, я думаю, не совсем то, что запомнила Мария. Я не думаю, что из фразы «Он наречётся Сыном Всевышнего» так уж неопровержимо следует, что он и есть сын Всевышнего. Во-вторых, престол Давида – это очень хорошо, но я уже не раз говорил тебе, брат, и тебе, отец, что совершенно нелепа эта ортодоксальная точка зрения на наш народ, как на избранный Богом. События последних столетий, начиная от Александра Македонского и кончая Кесарем, наглядно показали, что Господь весьма благосклонен и к другим народам, особенно эллинам и римлянам.

Чушь! – воскликнул, покраснев, правоверный Иаков. – Они же язычники и не чтут Господа.

– Они чтут Его под другими именами, – отмахнулся Иуда, – а что этих имён много – и Юпитер, и Аполлон, и даже Афина – это не показательно, потому что ты сам говорил мне, сколь много имён у Всевышнего только в Талмуде, написанном достаточно бездарными комментаторами Писания. Можно ли удивляться, что не меньше имён разыскали цивилизованные эллины? А что они чтут Воплощения Господни в идолах, это, конечно, нехорошо, но тоже может быть понято символично и иносказательно, как любишь ты сам, Иаков. Но

вернёмся к Иисусу. По-моему, всё же пророчество Деве Марии можно понять недвусмысленно. Иисус наречётся Сыном Всевышнего – чего уж яснее: он станет римским Кесарем, которые только так и зовут себя. И поверь мне, Иаков, что Иисус будет властвовать не только над нашим маленьким, хотя и достойным и гордым народом, но надо всем миром, так сказать, надо всем Орбис Романа, что гораздо важнее. Тогда Царствию Его действительно не будет конца, по крайней мере насколько мы можем судить об этом сейчас: не галлы же и не эфиопы сокрушат Империю! О воскресении во плоти я судить не берусь, но готов согласиться, сто Иисус, став Кесарем, откроет всему миру тот Золотой Век, что предвещан Исаией, Даниилом, Захарией, царём Давилом и Четвёртой эклогой Вергилия.

– Еретик и изувер! – воскликнул Иаков-фарисей, пылая благочестивым гневом. – Как ты можешь приравнивать языческие книжки и Пророчествам?

– Дух Божий может сойти и на язычника, ежели тот соблюдает одно «да» и шесть «нет»; кстати, а ты эти книжки читал? – ехидно спросил Иуда, но старший брат и слушать не желал:

– Недаром ты в своё время не желал делить огород с Иисусом, так что я уступил несколько своих участков!

– Так Ему же будет принадлежать всё царство! – возразил Иуда. – Я же не отрицаю этого, я нимало не сомневаюсь, что и Первосвященник Каиафа, как человек разумный и истинный саддукей, поддерживает Иисуса. А потому, что бы ты ни говорил об изгнании язычников и воскресении во плоти, ты прав в одном: мы должны немедленно пойти в Иерусалим и поклониться Иисусу, ибо будущее за Ним и Его сторонниками. Заказы же царя Ирода вполне могут подождать, тем более что он скоро будет низложен.

Иаков ещё что-то ворчал, но уже готов был примириться с братом, понимая, что отец (на которого они в разгаре спора и не оглядывались) скорее отпустит их в Иерусалим вместе; о том, чтобы поступить против воли отца даже после его смерти, которую обещал Михаил-архангел, праведный Иаков и подумать не мог. Итак, они пошли на мировую.

Но в это время поднялась Пресвятая Богородица и промолвила грустно:

– Ах, если бы всё это было только так! Но я и правда рассказала вам не всё, что открыл мне Гавриил-архангел в час Благовещения. Бросьте все эти споры: ведь нашего Иисуса, перед Царствием, ещё должны распять. Я просто не хотела огорчать вас и отца...

Но плотник Иосиф уже не слышал этого: пока сыновья спорили и том, кто такой Иисус Христос, он тихо умер, и ангелы (если Иуда ошибался и они всё-таки существуют) приняли его честную душу.

## ТРАГЕДИЯ ЗИГФРИДА

Вспоминая «Песнь о Нибелунгах», я неизменно задумываюсь о судьбе её главного героя, ставшего нарицательным стереотипом, – Зигфрида. Все мы помним, что Зигфрид – могучий богатырь, почти неуязвимый после того, как выкупался в крови убитого им дракона, – почти, так как на спину ему прилип листок с дерева, и это место осталось не защищённым драконьей кровью, – богатый как никто из его современников (знаменитое золото Нибелунгов, добытое им в молодости), непобедимый в бою (знаменитая дружина из доблестных карликов-Нибелунгов), красавец и удалец, не обременённый излишним умом, – зачем ему ум, если он и так в огне не горит и в воде не тонет! – да и смерть его нашла быстрая и лёгкая. Другими словами, мы видим, что Зигфрид – совершенно безупречный и совершенно благополучный герой.

Но благополучных героев не бывает, иначе они не были бы героями. У Ахиллеса погибает друг, да и Агамемнон обижает его. У Геракла – приступы безумия и тягостная служба (это у Зевсова сына!). У Фесея – Ариадна и Ипполит. Роланда предают, и трагическая вершина песни о нём – не тогда, когда он падает и передаёт перчатку Богу, а когда он ещё трубит в рог, но уже знает, что – тщетно. Илья Муромец сидит в подземелье, Виланд – калека, Ланселот и Тристан разрываются между долгом и страстью, и т.д., и т.п. Таким образом, кроме трагической гибели, а возможно, что даже больше её героям необходима прижизненная трагедия – та самая, которой мы не находим у Зигфрида.

С сильными романтическими натяжками можно попытаться найти у него терзания между двумя героинями – Брунгильдой и Кримгильдой. Однако версия эта тем сомнительнее, что ничем не подтверждается, – Кримгильду он любит и пользуется взаимностью, а что до Брунгильды, то он или совершенно равнодушен к ней, или забыл её после зелья, поданного ему на пиру матерью Кримгильды. Да и вообще ему как-то несвойственно колебаться. Брак с Кримгильдой – счастливый брак для Зигфрида (если для Кримгильды он не был таковым, то виною тому не её муж, а её характер): ему нужна была именно такая сравнительно мягкая (пока её не обидели, но ведь муж и не подозревал о возможности обиды!), ведомая и покровительствуемая им супруга. Заметим, что Гунтеру совершенно так же была необходима в жёны сильная личность вроде Брунгильды, а в её силе он убедился ещё во время сватовства на собственной шкуре; Брунгильду это совсем не устраивало, и её можно понять, но наша задача – другая: найти, в чём ПРИЖИЗНЕННАЯ трагедия



Зигфрида. Это необходимо хотя бы для того, чтобы возвысить его над Гунтером и Гагеном, которые погибают не менее трагично и более героично; необходимо для того, чтобы понять, почему Кримгильда так легко поддалась на уловку Гагена и указала ему уязвимое место мужа; необходимо, наконец, для того, чтобы уяснить вопрос о НАСЛЕДНИКАХ Зигфрида (не идейных, а по части короны, золота и славы).

Мне представляется, что дело обстояло так. Только что разругавшаяся с Брунгильдой и встревоженная приближением очередной войны (не за неуязвимого мужа, а за братьев) Кримгильда сидела в своей горнице и размышляла, как бы ей ещё насолить Брунгильде. Собственно, в препирательстве у ручья последнее слово осталось за нею; но она запомнила те слова Брунгильды, о которых начисто забывал тот, кто слагал «Песнь о Нибелунгах», а слова эти были разящими в самую цель:

– Да, Зигфрид славный богатырь; но почему же, Кримгильда, у вас нет детей?

– Есть, – возразила несмело та, – дочка моя белокурая Свангильда.

– Я спрашивала не от твоих детей, – ядовито заметила Брунгильда, – я спрашивала о ВАШИХ С ЗИГФРИДОМ детях.

Тут-то и был предъявлен пояс, который когда-то отнял у Брунгильды, по её мнению, муж, а на самом деле – Зигфрид, и разговор после появления столь важной улики перешёл сразу же в другое русло.

Кримгильда знала, что делает глупость, показывая пояс сопернице и хвастаясь далеко не лучшим, что можно сказать о Зигфриде; она ещё больше уверилась в этом, когда увидела, как Брунгильда шепчется с Гагеном. Но слишком больно сумела задеть её эта отставная валькирия; говорят, все валькирии ясновидящи, – иначе откуда бы ей знать, что Свангильда действительно не дочь Зигфрида, что вождь Нибелунгов, король Нидерландский, владетель Рейнского золотого фонда и первый богатырь Европы невольно покрыв грех того самого Гагена и Кримгильды и даже не заметил этого. Впрочем, он всегда был простоват. Рождению девочки он обрадовался, но тою ущербною радостью, какой короли, да и многие другие мужчины, радуются рождению дочери: несомненно, он предпочёл бы сына. Однако и дочь, как он нередко повторял Кримгильде, – это замечательно! До самого брака он сильно сомневался, что сможет зачать хотя бы дочь, – добрачные связи его говорили против этого, да и пресловутый меч между ним и Брунгильдой был только хитрой выдумкой проницательного и находчивого Гагена. В полголовы Зигфрид верил ему, в полголовы сомневался; но когда родилась Свангильда, он приложил все усилия, чтобы сделать ещё и сына, – увы, тщетные! Как он не похож на Гагена, этот белокурый вол, думала Кримгильда; он могуч, он может убить человека одним пальцем

и разрубить мечом любую скалу, но куда ему до нежного, ласкового, изобретательного Гагена – впрочем, кроме нежности и тому подобных качеств, у него были и другие преимущества перед Зигфридом. Ведь она любила его, этого верного и преданного вассала своего отца и брата, ведь она даже надеялась, что Гунтер выдаст её за него замуж, – но нет, Гаген был слишком верен своему королю, чтобы тот подстраховывался родственными узами с ним. Да и слава Зигфрида, утешала себя королева Нидерландская, может заменить многое; только детей не заменит, шепнула королеве женщина, и слава его уйдёт вместе с ним. Корону его унаследует Гунтер или дети Гунтера; возможно, что он знал о недостатке Зигфрида и потому и породнился с ним. Бедный Зигфрид, он ни в чём не виноват, он такой храбрый, честный, могучий, прославленный во всём свете, и он так мучится, всё больше с каждым днём, видя, что наследник у него не намечается, и всё больше уверяясь в том, что Свангильда не имеет к нему отношения, бедная девочка, бедный Зигфрид, бедный, глупый, грубый, великий Зигфрид, Нидерландский король, Нибелунгский вождь, Рейнский златоимец, так проигрывающий рядом с простым рыцарем, королевским вассалом, полунитцем Гагеном, у которого такие меткие руки и такие умные и всё понимающие глаза...

В светлицу вошёл Гаген и поклонился.

– Я рад, государыня, что твой муж не в обиде на короля Гунтера, которому так надоедает его бешеная супруга, и идёт с нами в поход. Скажи, могу ли я чем-нибудь услужить ему, а значит, и тебе?

И Кримгильда поняла его – наполовину, потому что понимать до конца боялась; и ответ её был тоже – половинным:

– На спине у Зигфрида есть уязвимое место; прикрывай его в бою сзади, Гаген.

– А где точно это место? – спросил Гаген. – В бою опасно ошибиться.

Теперь Кримгильда поняла его до конца, и всё же сказала:

– Я вышью крестик на его плаще в этом месте.

И Гаген поцеловал ей руку и вышел.

А через несколько часов уже трубили на королевском подворье трубачи, и над куполами шлемов вздымались шпильки копий, и Зигфрид, мрачный и бледный, вошёл к жене попрощаться. Он очень устал, подумала она, но я устала не меньше, и хотя нехорошо ему идти в поход в таком виде, но я хотя бы посплю этот срок спокойно. И она сама устыдилась своих мыслей, но стыд её бежал перед страхом, когда она увидела, как муж встряхнул новый плащ и обнаружил крестик. Три минуты (впрочем, тогда ещё время не мерили минутами) молча смотрел он на крест, а Кримгильда – на него. Потом он медленно поднял голову и сказал:

– Я Вэльзунг, супруга моя, и если я не умён, то всё же немного пророк – умные пророки уже вымерли, остались такие, как я. Я знаю, почему ты вышла здесь крест, и не надо лгать и оправдываться. Я

знаю, чем не угодил тебе, и за это принял мук больше тебя. Что же! Значит, сегодня я ухожу в последний поход, в котором погибну славной смертью, ибо меня поразят, наметившись в этот чёрный крестик, не подозревая, что никакая кровь дракона не может сделать человека неуязвимым, а разве только мокрым и красным. Так я погибну, не оставив наследников королевству, не оставив преемников славе – я последний богатырь этих стран, суди об этом по Гунтеру, который моложе меня, – не оставив хозяина золоту и детей – тебе. Ты наживёшь ещё много детей, кроме этой белокурой девчушки, но запомни: им будет очень нехорошо жить. Мне самому от души жаль их, но я это знаю. Прощай, жена моя Кримгильда, да простит тебя Господь!

И он сел на коня, и поехал со двора, и достиг Отенвальдского ручья, и склонился к воде – попить, и копьё Гагена вошло ему в спину, в то место, где был крест, и Зигфрид умер, не раскрыв своей тайны, о которой знала лишь Кримгильда. Но она помалкивала.

## **ВОЗВРАЩЁННАЯ СТРЕЛА,**

### **Или АБДАЛЛАХ ИБН-АЛЬ-МУТАЗ, ХАЛИФ НА ДЕНЬ**

#### **ПЕРО**

В 243 году Хиджры у несправедливого халифа ал-Мутаза Аббасида родился сын. По тогдашнему обычаю, его нарекли скромно Абдаллахом – «рабом Божиим», по тому же обычаю, наречение это отпраздновали шумно, с пирами, гульбищами, игрищами и стрельбою в цель. Молодой халиф сам принял во всём этом участие; одна стрела не попала в цель, и её не нашли. Это было сочтено дурным предзнаменованием, а через год аль-Мутаза свергли и уморили голодом в тюрьме.

Абдаллаха растила любящая бабка, оказавшаяся достаточно скупой, чтобы позволить сыну-халифу запутаться в долгах и погибнуть, но достаточно щедрой, чтобы дать внуку царское воспитание. Он рос в её дворце, который то конфисковывали, то вновь возвращали старухе, никогда его и не покидавшей. Мальчик слушал сказки: про Аладдина и волшебную лампу; про Синдбада, пересекшего семь морей и видевшего птицу Рух и одноглазого людоеда; про предшественника Искандера Двурогого, тоже десять лет воевавшего в Азии и убитого стрелой в пятку.

Его пытались приучить к оружию – он уклонялся; его пытались приучить к охоте – он предпочитал слушать охотничьи рассказы.

– Кто был лучший на свете охотник? – спросил он как-то старого егеря. Тот страшным шепотом ответил:

– Немврод Нечестивый. Он построил Вавилонскую башню, а когда Аллах сокрушил её, то вызвал Всевышнего на бой и стал стрелять в небо. Архангел Джibriль ловил его стрелы, окрашивал радугой и бросал обратно, а Немврод думал, что ранил Бога. Потом он обезумел, ушёл в леса и был заеден комарами.

Абдаллах невлюбил охоту, но полюбил песни и стихи о старых временах; потом он начал писать их сам.

#### **ДРЕВКО**

Шли годы; опалу с рода аль-Мутаза сняли, Абдаллах жил при дворе и учился у поэта Абульгасана Сына Грека писать стихи. Абульгасан показал ему языческую картинку: мальчик с луком. Колчаном и завязанными глазами.

– Кто это? – спросил Абдаллах.

– Дух любви, – ответил Сын Грека.

– А я думал, смерти, – сказал Абдаллах.

– Или жизни, – возразил Абульгасан и рассказал юноше странную задачу о летящей стреле, которая каждое отдельное мгновение неподвижна.

– Так что скорость её нельзя рассчитать? – спросил Абдаллах.

– Математики могут, – ответил Сын Грека, – а философы говорят, что она летит бесконечно долгое и бесконечно короткое время. Юноша сам стал писать стихи. Ему говорили:

– Ты царского рода, учись лучше судить и воевать – это удел властных.

Он ответил стихами:

– Что даёт власть? Боязливую душу, усталое тело, пошатнувшуюся веру.

Его наставник однажды признал:

– Ты пишешь лучше меня стихи и поэмы. Напиши же книгу о том, как у тебя это выходит.

– А почему ты не хочешь сделать этого сам? – спросил Абдаллах.

– Мне не до того: я должен успеть посмеяться, – ответил сын Грека. Через несколько дней он был отравлен пред лицом халифа, читавшего ему в это время вслух его собственную сатиру.

Абдаллах написал книги о том, как слагать стихи, говорить речи, понимать музыку и искать смысл жизни; из последней сохранились лишь отрывки, темнотой соответствующие теме. Как-то он увидел двух охотников-бедуинов: старший учил младшего стихосложению по его книге. Ещё с языческих времён арабам в таких случаях подобала щедрость: Абдаллах одарил их и усадил с собою за стол.

– Да умножит Аллах твои песни, как стрелы в моём колчане! – сказал старший охотник.

– Да умножит Аллах потомство Аббасидов, как стрелы в моём колчане! – воскликнул младший. Поэт нахмурился:

– Не говори так. Чем больше море, тем больше волны, чем больше стрел, тем больше ран, чем больше у царя родичей, тем больше смут.

– О Ибн-аль-Мутаз, – молвил старик, – стрел в колчане много, но убивает лишь одна!

Тот ничего не ответил.

Халиф, отравивший в своё время Абульгасана, после многих подвигов и войн был отравлен сам. Заговор составлял тот везир, что донёс на Сына Грека; яд достал некий индус. Сын покойного, молодой халиф Муктафи, допросил индуса в присутствии Абдаллаха.

– Как ты посмел посягнуть не тело и душу повелителя мусульман? – спросил он грозно.

– Я не мусульманин, – ответил индус, – на тело царя вашего посягнул по приказу, а на душу посягнуть не мог. Вы, верующие в единого Бога, разве не знаете, что все души – одна мировая душа,

которая держится на конце вечно летящей и вечно неподвижной стрелы?

– Откуда ты взял эту ересь? – спросил халиф.

– Из нашей книги Упанишады, где сказано многое, – пояснил индус. Муктафи произнёс слова, которые приписываются Омару, сжигавшему Александрийскую библиотеку, и распял индуса. Он был достойнее своих предшественников, но с тех пор Абдаллах избегал его.

## ОСТРИЕ

Муктафи умер бездетным. На престол претендовал его мальчик-брат; несколько знатных вельмож пришли к Абдаллаху и сказали:

– О сын халифа, займи престол предков.

– Не хочу, – ответил поэт. – Больше всего бед от власти – облечённому властью; близкий к огню сгорит первым. Чем вам не по нраву брат Муктафи?

– В свои тринадцать он глуп, как в десять, азартен, как в двадцать, и развращён, как в тридцать, – пояснили придворные. – Ты сам сказал когда-то: народ без государя есть тело без души; ты один – достойный государь.

Абдаллах не помнил, когда и где он это сказал, но вздохнул и согласился, заметив:

– Видно, мне пора повстречаться со смертью.

– Что есть смерть, о мудрый Ибн-аль-Мутаз? – спросил некий скептик из его сторонников. Абдаллах взглянул на него и произнёс:

– Смерть – это стрела, пущенная в тебя в день твоего рождения, а жизнь – то мгновение, которое она до тебя летит.

Никто его не понял, никто не вспомнил игрищ в честь его рождения, о которых он и сам ничего не знал.

Абдаллах ибн-аль-Мутаз Аббасид был провозглашён халифом и взошёл на престол отца. В окружении своих приверженцев он стоял на золотом троне десять часов, не произнеся ни одного приговора врагам и не пожаловав ни одной милости сторонникам. Вечером этого дня, третьего в шестом месяце 285 года Хиджры, в толпе приверженцев юного брата покойного Муктафи щёлкнула тетива, в воздухе просвистела стрела и впилась в грудь Абдаллаха. Он упал с престола, обливаясь кровью, а вокруг началась резня. Абдаллах был ещё жив, когда победители подобрали его, лежащего со стрелой в груди, и посадили на кол; но муки однодневный халиф терпел лишь несколько минут. Последним словом, которое разобрали на его пузырящихся кровью губах, было:

– Стрела...

## ПЕРВЕНЕЦ

Обсуждая с другом моим Альбертасом Доброжелайтисом время и место действия его романа – Литву XIV столетия, мы вновь встали перед загадочной историей смутной поры, наступившей после смерти великого Гедимины при утверждении его наследников.

Как известно, у этого князя от трёх жён было семеро сыновей: от первой – Монвид и Наримант, от второй – Кейстут и Ольгерд, от третьей, Евы, – Любарт, Кориат и, самый младший, Явнут. Дочерей его мы здесь касаться не будем – это народ неуследимый, что же до сыновей, то завещание Гедимины в этом отношении любопытно и необычно. Великокняжеский престол неожиданно для всех получил младший из братьев, Явнут, что противоречило всем обычаям, но, надо полагать, вполне соответствовало желаниям княгини Евы: год рождения Явнута нам, как обычно со столь давними временами бывает, неизвестен, но есть все основания думать, что он был ещё ребёнком, а его мать небезосновательно претендовала на регентство.

Из этого, как мы знаем, ничего не вышло: единоутробные Ольгерд Витебский и Кейстут Жмудский составили заговор, пошли с двух сторон на Вильну, Кейстут, пришедший первым, занял город и ту крепость, одну из башен которой мы можем видеть и по сей день, сверг Явнута и, когда подошёл запоздавший брат, благороднейшим образом передал сконфуженному Ольгерду престол как старшему. Явнут вместе с матерью был сослан в маленький городок на Чёрной Руси, где, по словам одних, умер (последствия чего так красочно описал Альбертас), а по словам других, бежал в Новгород, оттуда в Москву, там крестился, и на этом след его теряется (лично я предпочитаю именно эту версию, подтверждающую русское гостеприимство). После чего Ольгерд начал, и весьма успешно, покорять Русь, а Кейстут, гораздо менее успешно, оборонять западные границы от железного орденового фронта. Но нас интересует иное: почему из шести старших и средних сыновей великого князя свои права решили отстаивать только эти двое? Или, ещё точнее, почему не боролись за трон четверо остальных? На этот вопрос требуется дать четыре ответа – по одному на брата.

Проще всего дело обстоит с Наримантом: задолго до гибели отца второй по старшинству Гедиминович был призван на княжение новгородцами – не в сам Новгород, правда, до этого дело не дошло; но, имея перед собою блестящий пример Довмонта Покровского, они предоставили литовцу Ладогу, Орешек, Корелу и ещё некоторые земли. Очевидно, в выборе они не ошиблись, ибо больше о Нариманте на Литве слышно не было, а Новгород его потомки защищали

через сто лет уже от Москвы. Любарт, единоутробный брат Явнута, тоже уже давно был взят в зятья на Волинское княжество и вместе с братом Кориатом оборонялся в это время от поляков; обоим, таким образом, было не до Вильны.

Но остаётся ещё один, самый старший сын Гедимины и законный наследник его венца – Монвид. Вместо столицы он получил Кернов на Вилии, Карачев в порубежных с Русью землях и Слоним, на который, в свою очередь, претендовала Польша. Получи такие уделы кто-нибудь из средних детей, в этом не было бы ничего удивительного: две порубежные марки и Кернов, старейший литовский город, бывшая столица, уже утратившая блеск, но почётная. Однако Монвид был старшим, а тем не менее покорно принял эти бедные и хлопотные уделы, не пытаясь добыть венец. Почему? Альбертас высказал предположение об «исконно литовском минорате, который, кстати, впоследствии подтвердил своим сомнительным завещанием Ольдерд. Но никакой минорат (вообще неестественный для славян и балтов) не мог помешать мятежу. Я думаю, дело заключалось совсем в ином. Вот что мне представилось:

Несколько недель осаждал немецкий замок Велону Гедимин, пока не был смертельно ранен пищальным выстрелом со стен – по преданию, первым выстрелом из ружья, услышанным в Литве. Началась паника, войско поспешно отступило, унося с собою великого князя, – столь поспешно, что немецкие хроники безоговорочно называют это отступление бегством, но мы из уважения к литовскому народу выразимся учтивее. По лесам и рекам Гедимины везли в Вильну, и неудивительно, что многие сыновья, в том числе и Монвид, сопровождали его из общего похода. Завещание было составлено давно, ещё в столице; записано, конечно, по неграмотности не было, но опытный запоминальщик затвердил его наизусть. Под страхом ужасной казни он не смел открыть волю государя до его смерти: это поторопило бы злых духов во главе с Гельтиной-Губительницей. Но Ева, третья и любимая жена Гедимины, уже дозналась о содержании этого устного документа: дабы не обидеть ни Кейстута, ни Ольгерда, властных и честолюбивых, великий князь обидел их обоих, оставив венец восьмилетнему Явнуту, самому младшему и самому любимому из детей Евы. Княгиня ждала в Вильне смерти мужа, чтобы взять власть в свои руки от имени мальчика-государя. Но она до поры молчала, молчал и запоминальщик, и всеми ожидалось, что престол достанется, по дедовскому обычаю, старшему княжичу. Правда, сам Гедимин получил его гораздо более сомнительным образом, но об этом вспоминать было не положено...

А тем временем сыновья и ратники медленно шли против течения Вилии, везя старого, ещё борющегося со смертью государя умирать в его столицу. Монвид, мрачно качаясь в выложенном серебром ведле вдоль дороги, услышал голос старого дружинника за спиной:



– И то удача, что стольный город теперь недалече. Не люблю я Вильну, а всё до Новогрудка, Миндовгова града, живым бы не довезли...

Монвид гневно оглянулся, потрянул плетью, но промолчал: эти старые, опытные, ещё князя Витена дружинники любили его, и он платил им тем же, в то время как другие, помоложе, из самых верных соратников Гедимины, старшего княжича не жаловали. Да и отец всегда был с Монвидом суровее, чем с остальными детьми, что не мешало тому любить своего государя и родителя и благоговеть перед ним. Матери Монвид почти не помнил – она умерла, когда ему не было и четырёх лет.

Дойдя до Кернова, древней, священной, ещё доминдовговской столицы и резиденции верховного жреца и покойного великого князя Витена, ладьи пристали к берегу. Гедимины на носилках понесли в город; Монвид с угрюмой горечью смотрел на обессиленные изжелта-бурые руки всесильного князя, на торчащую острым клоком вверх полуседую бороду и перебитый некогда вражеским буздыганом нос. Глаза были закрыты, но Гедимин не спал; когда воины подошли к терему, он прошептал:

– В Витенов покой. Дальше везти не надо будет, – в пробитом лёгком что-то шепеляво свистело.

Носилки подняли на крыльцо – князь закусил губу от боли; потом его переложили на крытую поверх зелёного сукна медвежьими шкурами лавку. Протянув руку, Гедимин пощупал мех и вдруг, скривившись, сказал:

– Вон! Все вон, кроме Монвида! Он-то здесь?

Монвид поспешно шагнул к отцу, взял его за руку; за ним двинулся было Ольгерд, но Гедимин остановил его:

– Остальные – все вон! Шлите нарочного к княгине – здесь умирать буду.

Не смея послушаться, с тихим ропотом сыновья и соратники очистили горницу.

– Закрой дверь, – сказал Гедимин Монвиду и, когда тот исполнил приказ, схватил его за руку, открыл серые больные глаза и заговорил:

– Вот и помираю. Проститься хочу. Рано помираю, глупо: думал, от меча погибну, а огнём достали. Ладно. Медленно говорить буду – не перебивай. Завещание завтра, может, послезавтра моё скажут. Ты там, по-твоему, обижен будешь. Керново это Витеново тебе оставляю, Слоним да на русском рубеже городок. Ты убережёшь. Вильна Явнута достанется, пусть жена моя правит, пока он в возраст не войдёт. Ты не спорь, она умна. Боюсь, Ольгерд не послушает, да что уж мне... За тебя – покоен, ты мне никогда не перечил – ни словом, ни делом. Боюсь, плохо ответил я тебе на это. Зато теперь всю правду скажу – одному тебе. Никто не узнает, кроме как ты...

Великий князь отпустил руку сына, перевёл дух и снова, скосив серые глаза, заговорил:

– Ты слышал, я князем через кровь стал. Говорят – отцеубийца. Не верь. Витену я не сын был. Вроде самозванца. Я конюхом был, когда твоей матери приглянулся. Красив. Она тогда за Витеном была. Хороша, горда, духом злая. Не любила его. Никто не любил – как он на Аа крыжаков разбил, больше побед не было, одни разгромы. С мужиков три шкуры драл, с вольных. Предвестили ему – громом убьёт за зло его. Не убило, только слух потом пустили. Меня – бил люто; жена – жалела. Полюбился я ей, Витен уже стар был, я – молод, в соку, перед тем в битве со смолянами отличился. Вечером, на переломе лета, она сказала: «Витен зажился. Хочу твоей женой стать, в приданое всю Литву принесу. Ночью иди в терем оружно, я отопру». Я послушал. Мне бы ответить, отказаться – не ответил. Любил её, и славы, власти хотел. Власть – страшна, не сломит – по ветру пустит. Боюсь за Кейстута, Ольгерда, за Явнута – помру, перегрызутся. Ты – не лезь. Авось обойдётся. Ева – баба умная. Ладно. Ночью вот к этому терему прихожу, с саблей, дрожу весь. Мёд пил – дрожь прошла, стукнул – мать твоя отворила. Вошёл сюда. Витен, сивый, косматый, на этой лавке спал. Тоже на шкуре, медвежьей. Лучина трещит. Мать твоя говорит: «Бей». Я в ответ: «Спящего не стану». Молод был. За ставнями – гроза. Проще потом было про гром рассказывать. Она говорит: «Бей, за меня. Проснётся, тебя порубит и меня тоже». Я вынул саблю, ткнул ему под бороду, в горло – только хлюпнуло, вытащил саблю – ещё хлюпнуло. Он успел глаза раскрыть, а кричать не может, кровь только клокочет. Глаза у него рыжие были, как у рыси. Захрипел, а мать твоя смеётся, меня бежать не пускает, говорила ему что-то, я – не слышал. Затих он, я к дверям, она мне путь загородила: «Нет, ты муж мой теперь. Свадьба наша нынче». Содрала с него шкуру, всю в крови, на пол бросила, меня валит. Потом говорила – в эту ночь ты зачат был.

Гедимин умолк, только со свистом вздымалась широкая простреленная грудь да рука, как клещами, сжимала запястье Монвида. Тот, тоже молча, сидел у постели отца; во дворе перекликались сторожа, Монвид рассеянно смотрел на чадящую лучину и не сразу разобрал, когда старик вновь заговорил:

– Душно тут. До рассвета дотянуть хочу, до Евиного приезда – навряд ли. Ладно. Тогда, наутро, она объявила, что я – побочный сын Витена. Законных – не было, меня по смоленскому бою помнили, Витена – не любили. Порешили – громом убило. Ладно. Ты родился, Наримант, потом мать померла. Быстро, в одночасье кончилась. Хорошо, Наримант на севере, грызться не станет... Потом я на тебя как-то посмотрел, меня как ударило: а что как ты не мой сын? Откуда знаю? Бояться тебя стал – я, Гедимин! Не мести боялся. Не знаю, чего. В любом бою, как бил в горло, Витена вспоминал. Как он глаза открыл...

Князь тяжело перевёл дух, Монвид тоже вздохнул. Странной показалась ему эта ночь в горнице, где он был зачат у кровавого трупа... Да тогда ли, не раньше, не Витеном ли?

Гедимин снова, уже совсем тихо, заговорил. Монвид читал по губам:

– Думал – ты Витенов, тебе всё оставляю. Искуплю. Но – не знаю. Может, мой, может – его. Общий наш сын. Скоро смогу твою мать спросить. Не побоюсь. На этот раз. Тебе – Витенов дом, Керново. Чей бы ты ни был – Кернов твой. Вильно – это я от керновской памяти бежал. Пусть – Явнута, на нём одном ещё ничьей крови нет.

Изо рта Гедимины потекла розовая слюна; напрягшись, он сплюнул на шкуру, вздохнул и, косясь на Монвида, прошептал:

– И ты уцелеешь... Этот венец – кровью омыт, с Миндовга без крови – никому не доставался. Отцов, дядей, братьев резали... Этот дом – твой, город – твой; а лучше поезжай в Карачев. Там русские да татары – всё лучше братьев. Я вижу, – воскликнул он вдруг прорезавшимся голосом, выкатив глаза, – вижу, Кейстут с Ольгердом рубятся... Явнут, дитя, меч мой тянет... шипит, из ножен... Уезжай, Монвид, чтобы простился мне спящий, беги, сын НАШ С ВИТЕНОМ!

Монвид со страхом уставился в угол, где Гедимину явилось видение, а когда повернулся обратно, у великого князя уже пошла горлом кровь и шла до рассвета, когда он умер. После оглашения завещания Монвид, не простившись с братьями, уехал на восток и там, под своим Карачевым сражаясь с брянскими князьями, вскоре погиб. Но как ни скоро это случилось, а в Вильне Явнута уже сменил Ольгерд, ничего не знающий об отцовской тайне и после смерти Монвида с чистым сердцем прибравший к рукам Кернов. Начинаясь пора величия Литвы, но город, где умерли два великих князя, уже не имел для неё значения.

## КОРОЛЕВСКАЯ ТЮРЬМА В СЕВИЛЬЕ

Дон Мигель? Я сразу узнал вас по вашей руке – вы же потеряли вторую в славной битве при Лепанто, не так ли? Очень рад вас видеть, хотя и в высшей степени нелепо, что два столь благородных человека встретились здесь, в долговой тюрьме. Страшная вещь – деньги, они хуже всех волшебников и великанов, они захватили мир; может быть, с ними-то и следует воевать – впрочем, у меня их никогда не водилось. Я ещё не представился – идальго Дон Кихот из Ла-Манчи, по документам – Алонсо Кехана, но я свыкся с первым именем, я уже несколько лет живу под ним... я рыцарь, да, сударь, рыцарь, а это мой оруженосец Санчо. Санчо! Поклонись же сеньору, невежа ты этакий, хоть он и здесь, но это же дон Мигель де Сервантес Сааведра, автор «Галатеи»! Простите, сударь, он почти ничего не читал, это отнимает у него слишком много сил. Даже я теперь мало читаю... Ну, как – почему же? Раньше, в молодости и потом, я читал очень много, сеньор, преимущественно рыцарские романы. Я понимаю, в наше время это не слишком уважаемое чтение, куда более популярны пасторали и пьесы по двенадцать штук в томе... простите, ради Бога, я и не собирался намекать на ваши сочинения, право же, нимало! Но что, кроме рыцарских романов, так очищает и укрепляет душу, где ещё остались люди благородные и деятельные? Дон Тристан из Леониса честно сражался на поединках с сарацинским рыцарем Паламидо, и, видит Бог, это более правый путь к обращению язычников, чем те погромы и гонения на них, которые мы видим теперь! Что? Почему – тише? Ах да! Но поверьте, я и в мыслях не имел оскорблять Его Католическое Величество и Святую Церковь, я и подумать такого не дерзну! Но и дон Филипп, и даже наше духовенство, несмотря на все старания и радения, не в силах охватить милосердием своим всех несчастных... Санчо, пожалуйста, не чавкай так громко! Какой, право, гадостью нас тут кормят! Простите, сударь!

Так о чём бишь я? Да-да, вот мне и показалось, что такое положение можем ещё поправить, помогая Государю и Церкви, мы – потомки благороднейших рыцарей Иберии, люди честные и готовые на любой подвиг для того, чтобы помочь людям. Я сделал себе шлем, правда, без забрала, из цирюльничьего тазика, разыскал дедовское копьё и вместе с моим верным Санчо пустился в странствие. Иногда, сеньор, мне в самом деле удавалось кому-нибудь помочь, чаще нас прогоняли в шею и обидчики, и обиженные, всегда над нами смеялись, как смеялись мои домочадцы над романами об Амадисе Галльском и Эспландиане... Но знаете что, дон Мигель? Это хорошо, что

они смеялись. Вы, наверное, сами замечали, что, когда человек смеётся, он становится добрее. А ведь это самый трудный и лучший из подвигов – сделать кого-нибудь добрее, хоть ненадолго! Вот и вы улыбаетесь старому чудаку, который сидит в Королевской тюрьме в грязи и сырости. Какая уж доброта, если столько народу засажено сюда совершенно случайно, по небрежности судей, как вы, да? Но ведь это не так уж плохо, если на свете на самом деле меньше преступников, чем числится в полицейских ведомостях. Надо мною смеются и здесь, хотя вообще здесь редко смеются, куда реже, чем на воле. Приходится придумывать для них совсем уж нелепые истории из собственной жизни – например, как я будто бы принял ветряную мельницу за великана, как порубил мечом марионеточных сарацинов... Ведь если бы я порубил настоящих мавров, эта история была бы куда более грустной... и обычной.

Так вот, дон Мигель, зачем, собственно, я отрываю вас от завтрака: я читал ваши вещи, и я знаю, что вы хороший писатель. Пусть вы и не написали ещё ни одной действительно хорошей книги, но вы же, правда, сумеете, вы настоящий писатель! Я уже стар, и даже если я выйду отсюда, то мне недолго осталось помогать людям и рассказывать смешные истории о запоздалом благородном странствующем рыцаре. Напишите обо мне книгу, и многие прочитают её, и посмеются, и задумаются о том, что цели этого нескладного рыцаря не так уж смешны и глупы... Ну, что значит «нет настроения» писать? Ну, хотите, начало я вам продиктую, а дальше само пойдёт. Мы придумаем много смешного и благородного, больше, чем было на самом деле; я расскажу вам то, чего ещё никому не рассказывал, – о девушке из Тобосо, которую любил и люблю... А если начнёт выходить слишком лирически, нам поможет и подскажет что-нибудь Санчо. Ведь, хотя это и высокопарно звучит, вы, да я, да Санчо – это и есть Испания, и пусть её запомнят по нам, а не по кострам инквизиции. Хорошо? Договорились? Ну, так давайте сейчас же и начнём. Например, так: «В некоем селе Ла-Манчи не так давно жил-был один из тех идальго...»

Да, я хотел попросить ещё об одной вещи, дон Мигель: когда я умру, а вы будете продолжать эту книгу без меня, – я ведь очень болен, хотя рыцарям положено умирать только от боевых ран, а у меня язва желудка, – то, очень прошу, пусть последним словом в ней будет «добрый». Ведь, собственно говоря, ради этого мы и пишем. То есть вы – я плохо вижу при этом освещении. Итак: «...один из тех идальго, чьё имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке...»

## ЧЕЛОВЕК И СТЕНА

31 января 1985 года я листал книгу, изданную в 1899 году, носящую название: «Знаменитые авантюристы XVIII столетия» и снабжённую клинописной дарственной надписью, значение которой мне постичь не дано. Наскучив бенгальским блеском Казановы, пленительной низостью Калиостро и таинственной мудростью графа Сен-Жермена, я обратился к последнему персонажу этой книги, лишённой автора, – единственному персонажу, который был действительно несчастен и способен вызвать сострадание, а не сочувствие. История и имя его менее широко, но всё же достаточно известны – это барон Фридрих фон Тренк, великий узник. Поэтому, назвав имя, историю его я до определённого момента очерчу возможно лаконичнее.

Фридрих фон Тренк, офицер армии Фридриха Великого и брат «неистового мадьяра», прославившегося своими зверствами на весь этот век инквизиции и пугачёвщины, был обвинён в связи с сестрой прусского короля и нарушении воинской дисциплины, посажен на гауптвахту, бежал, был пойман, бежал за границу, снова пойман, посажен в крепость – и далее десять или двадцать лет его жизни есть неудавшиеся на разных этапах попытки к бегству. Он рыл подкопы, пробивал стены, оборонялся выломанными кирпичами и собственными кандалами от взвода тюремной стражи (физическая сила этого богатыря вошла в легенды) и служил источником для «Графа Монте-Кристо». Собственная неловкость, предательство сообщников или просто бдительность охраны сокрушили все десятки его побегов; скажу сразу, что ни разу он не бежал из крепости успешно.

Наконец, на пятнадцатый год заключения он вызвал коменданта и сказал:

– Осмотрите мою камеру.

Камера была безупречным каменным мешком

– Клянусь, – сказал Тренк, – что завтра в полдень я буду стоять на гребне крепостной стены.

Ему не поверили, однако охрану усилили. В полдень он стоял в разорванных цепях на стене и своим громовым голосом провозгласил:

– Я не бегу, хотя ваши ружья и кони бессильны. Сообщите лишь королю о том, что вы видели сегодня.

С этими словами он спрыгнул обратно в тюремный двор и пошёл под замок. Через несколько недель пришёл высочайший указ о помиловании, подписанный поражённым государем. Послужив ещё немного в армии, выйдя в отставку, женившись и удалившись в своё

венгерское поместье, Тренк ещё двадцать пять лет занимался разведением токайских виноградников, а в 1790 году неожиданно для всех отправился в революционный Париж и, с трудом миновав все препятствия и границы, у первой же парижской заставы был схвачен.

- Фамилия?
- Фон Тренк.
- Дворянин?
- Да.
- Подданство?
- Прусское.
- Цель приезда?

Ответа на этот вопрос от заведомого шпиона ждать не стали; он был гильотинирован.

Как во всех биографиях авантюристов, в истории Тренка много неясного. Его роман с принцессой я оставляю любителям иного жанра; его освобождение можно объяснить чудом (как и абсолютно всё – например, факт моего или вашего существования в данную минуту), теорией вероятности или (что я предпочёл) опытом «бегуна» и благородством Фридриха Великого, оспаривать которое я предоставляю ЕГО биографам. Более естественного занятия, чем виноградарство, я для венгерского помещика не вижу. Загадка в другом: зачем он поехал в Париж?

Отвергнем «жажду авантюры» как лишком широкое и ничего, в общем, не объясняющее объяснение. Отвергнем затем и «дух революционного протеста», ибо в Тренке его не было никогда; к тому же заметим, что подлинный авантюрист взбунтовал бы Венгрию и был бы казнён королём или императором, ехать в Париж для этого было не обязательно. Мой друг Д. Сильвер, специалист по истории Иуды Искарота, предположил в Тренке-революционере желание предать и погибнуть от руки «своих». Но это нимало не снимает вопрос: почему верноподданный немецкий дворянин и патриот, однажды, правда, встретившийся с Франклином, не давший ему резкую отповедь и вернувшийся к виноторговле, отказавшийся от единственного своего успешного побега во имя монаршей милости, счёл «своими» французских купцов и ремесленников?

Вот мой домысел: осенью 1789 года, в дождь и ветер, когда фон Тренк сидел в своём замке за бокалом токайского, к нему попросился переночевать некий французский дворянин. Я вижу его тщедушным, робким и дальновидным (полной противоположностью Тренка), уже в первые, ещё не кровавые дни революции бегущего к своим, предположим, русским друзьям. Быть может, он был иным; быть может, это был сам Сен-Жермен (который, впрочем, к тому времени уже умер); быть может, его и не было вовсе, – повторяю, это лишь домысел. Тренк сажает его за стол; угощает; расспрашивает. Француз рассказывает седому герою о том немногом, что он успел

увидеть. Из этого немногого великий узник воспринимает одно: взятие Бастилии.

Вспомним, что Тренк – сын страны, где замков в ту пору было больше, чем в самой Кастилии; что его покойный государь и кумир носил прозвание, впоследствии присвоенное американским генералом Джексонем; что годы и годы он сидел в стенах крепости-тюрьмы; что на крепостной стене он пережил то, что принято называть «звёздным часом». Ныне, этой ненастной осенью, Фридрих Великий давно был мёртв; его наследник и тёзка, как мы знаем из истории и из жизни советника фон Гёте, пошёл на Париж, но образцовые прусские солдаты сказали государю: «Слишком скверная погода для войны», он ответил: «Да, пожалуй» и повернул назад; а стены главной тюрьмы Европы (для Тренка, конечно, – главной после той, в которой исходил яростью он сам) пали.

И вот Фридрих фон Тренк, проводив французского дворянина, садится на коня и едет на запад, где удар гильотины довершает легенду о человеке и стене.



## ПЕРЕСМОТР

В 1856 году Александр Дюма-отец, по его собственному свидетельству, собирался писать заказанный ему Жюлем Симоном очередной роман «Рене д'Аргон», но бросил его и взялся за совершенно другой по следующим причинам. «Рене» не шёл; беседуя с сыном, Дюма поведал ему историю, которую рассказывал его друг Нодье в «Воспоминаниях о революции».

Сторонники монархии в Провансе, именовавшие себя «Соратниками Иегу» (под последним подразумевался Людовик XVIII), грабили дилижансы, перевозившие казённые деньги, и пересылали добычу в Вандею. Интересующий нас (а также Нодье и обоих Дюма) дилижанс задержали четверо в масках: Лепретр, Гивер, Гюйон и Амье. Первому было 48 лет, он служил когда-то в драгунах, имел орден Святого Людовика, был учтив и доблестен. Второй, «Ахилл и Парис этой банды», был 19-летним красавцем, благороднейшим богатырём и идеальным героем. Двум другим было около двадцати пяти, это были Орест и Пилад. При задержании дилижанса сопротивление им оказал лишь ехавший с матерью ребёнок, выстреливший в них из кондукторских пистолетов, в которых не оказалось пуль, так что все остались живы, и лишь мать его потеряла сознание. Лепретр привёл её в чувство, но с него упала маска, и дама увидела его лицо. Затем разбойники скрылись, не причинив никому вреда, а вскоре их арестовали и отдали под суд. Опознать их никто не мог: они, как уже было сказано, грабили в масках. Исключение составила дама, которая, вероятно, надеясь смягчить участь виновных (признавшихся хоть и не в грабеже, но в мятеже, и обречённых тем самым на смерть) ответила на вопрос судьи: «Сударыня, кто именно из обвиняемых проявил такую заботу о вас?». Судьба подсудимых была решена, но в ночь перед казнью в их камере неожиданно оказалось оружие, они пробились в тюремный двор, Лепретр покончил с собою на месте («чувствуя себя отчасти виновным в этой трагедии»), а остальные после перестрелки закололись или были казнены ранеными; особый героизм проявил красавец Гивер.

Вот что было сказано у Нодье. Дюма-сын предложил отцу написать об этом роман, добавив двух лиц: англичанина-джентльмена и офицера-бонапартиста, по неизвестным причинам ищущего гибели. Отец съездил на место действия, продемонстрировав, что верит более городам, чем книгам, написал роман и назвал его «Соратники Иегу». Все герои (кроме, естественно, дамы) были введены в возрастные рамки между 20 и 30 годами; роль Лепретра отдана Гиверу; все имена заменены; у дамы появилась дочь, влюблённая в

Гивера (будем звать его так, ибо только у Дюма он носит три имени) и сын – тот самый адъютант Бонапарта, которого пуля боится и штык не берёт. Его зовут Ролан де Монтревель; он подавил «Соратников» и послужил причиной гибели четырёх исходных героев-разбойников и сестры, которая доставила им оружие в тюрьму, а потом умерла от горя. Причиной своих поисков гибели он выставляет аневризм аорты – он идёт на все опасности, чтобы ему, боевому офицеру, «не умереть позорно, стягивая с себя сапог»; разумеется, ни автор, ни читатели этому не верят. Тайна его гибнет вместе с ним в битве при маренго, во время которой он бесследно исчез – даже тела не нашли. Таково, вкратце, содержание романа.

Натяжки очевидны: нераскрытая загадка, ещё допустимая в историко-романтическом романе времён Дюма, недопустима ныне; сестра героя – один из самых бледных образов во всех томах нашего автора, хотя она – главная героиня; о расхождении с Нодье (чью достоверность подтверждает сам Дюма ссылкой на тюремный документ) нечего и говорить. Пользуясь своим правом на домысел и большим доверием к письменным источникам, нежели к провансальским легендам, я осмелюсь выдвинуть свою версию происшедшего. Она спорна, истинность её весьма сомнительна; но не убеждайте меня задавать вам Пилатов вопрос – я не прокуратор, а вы, на ваше счастье, не Иисусы.

Перелом в битве при Маренго в половине четвёртого 14 июля 1800 года уже совершился. Полковник Ролан де Монтревель, более часа простоявший непоколебимо в каре из девятисот наполеоновских гвардейцев, которых за этот час, впрочем, стало уже значительно меньше, не получил ни одной раны. Он не удивлялся этому – неведомый дух, хранивший его от египетских ятаганов, вандейских пуль и кинжалов «Соратников Иегу», разгромленных при его участии, продолжал защищать своего подопечного и от австрийских ядер.

Неуязвимость эта подтверждена была в последний раз его дуэлью с лордом Джоном Танлеем, который сватался к его сестре с одобрения всей семьи и лично первого консула и вдруг обнаружил, что адъютант Бонапарта не способен дать даже того жалкого приданого, которое дал Мюрату за сестрою сам Бонапарт. Это побудило его разорвать помолвку; Ролан, разумеется, вызвал его на дуэль – равно желая отомстить бывшему другу и погибнуть самому. Уже после вызова полковник узнал, что причиной отказа была не только, не столько, а может быть и совсем не корысть: лорд Джон был племянником премьер-министра, и тот, видя шаткое положение Бонапарта, строго-настрога запретил племяннику вступать в подобный брак; Танлей не смел ослушаться. Подчинение шефу было свято для Ролана; на дуэли оба противника, ко взаимному удивлению, выстрелили на воздух, после чего, махнув на всё рукою, Ролан помчался в Италию. Здесь, близ селения Перта-Борна, он и слушал теперь

залпы австрийских и французских пушек. Они не мешали ему: сознание неуязвимости привило молодому человеку (полковнику было двадцать семь лет) привычку думать о постороннем в любых обстоятельствах, в то же время делая своё дело.

Переходя со своими гвардейцами в атаку на корпус генерала Эльсница, Ролан, как и подобает солдату, думал о матери, ибо возлюбленной в ожидании, а затем в поисках смерти не счёл нужным заводить. (Именно это последнее обстоятельство и дало повод как Бонапарту, так и Дюма-отцу предполагать в прошлом полковника некую загадочную несчастную любовь и клятву загробной верности; подобное объяснение всегда романтично – что за беда, если оно неверно?) Мать владела всеми его мыслями с самой казни «Соратников Иегу», к которым принадлежал некий Лепретр; даже с лордом Танлеем Ролан стрелялся, не оставляя этой мысли, а вернее, побуждаемый этой мыслью. Ибо никто, кроме него, не знал причины, по которой вдова революционного генерала так долго покрывала монархиста; никто больше не догадывался о том, почему эта образцовая мать странной наивностью обрекла на гильотину человека, спасшего её сыновей. Его собственные догадки были сомнительны; он знал, что Лепретр служил под командою его отца, когда первому было двадцать лет, а второму – тридцать; он подозревал, что поспешность брака его матери была вынужденной, – семнадцатилетней девчонкой вышла она за де Монтревеля; ему приходило в голову, что бандит, столь учтиво обошедшийся с нею, был когда-то её близким знакомым и что она не впервые увидела его лицо возле остановленного дилижанса. Но ему было также известно, что мать была верна отцу, что сам он родился через год после из свадьбы и входа Лейтенанта Лепретра (прошлое которого он за время суда тщательно изучил) из батальона майора де Монтревеля; кроме того, сам он никогда прежде лица Лепретра не видел и, как человек чести, считал недопустимыми подобные подозрения и гнал их от себя.

Накануне того свидетельства он беседовал с матерью о суде.

– Они смогут открутиться от гильотины, но уж никак не от расстрела, – сказал он.

– Пусть же погибнут как воины, а не как воры, – ответила г-жа де Монревель.

– Я долго гонялся за этими негодяями – я точно знаю, что Соратники Иегу грабили дилижансы, в том числе один подсадной, в котором находился я, направляясь арестовывать их.

– Ты мне никогда об этом не говорил! – побледнев, воскликнула мать.

– Я не хотел тебя тревожить. Мой странный гений хранил меня – хотя их вожак и узнал своего преследователя, но лишь запер в купе, а не убил.

– Твой гений! – с грустной усмешкой сказала г-жа де Монревель. – ты же знаешь, кем был их вожак!

– Лепретр? Знаю; но я никогда не поверю, что он так уж благоговеет перед покойным батюшкой.

– Глупенький! – со скорбной укоризною воскликнула та. – Он же уверен, что он – твой отец!

Ролан вскочил и стиснул её руку; взглянув ему в лицо, г-жа де Монтревель не посмела вскрикнуть.

– А чей я сын по твоему мнению? – спросил неуязвимый.

– Ты не смеешь оскорблять свою мать! Ты не смеешь оскорблять своего отца – генерала де Монтревеля!

– Поклянись!

– Чем?

– Собою, мною, сестрой и братишкой!

– Клянусь!

Ролан отпустил её руку.

– Он не должен больше так думать, – тихо произнёс он. – Я не желаю, чтобы моим ангелом-хранителем считал себя Лепретр, монархист, бунтовщик и вор! И не желаю, чтобы вдова генерала де Монтревеля хранила его. Ведь это Лепретр приводил тебя в чувство после выстрела братишки?..

Ночь прошла бурно; на следующий день вдова генерала своим свидетельством столь неловко пыталась спасти жизнь Лепретра; через несколько недель он был казнён. Уладив дела сестры, Ролан ускорил за Альпы – равно к своему командиру и от своей матери.

«Я поступил достойно, – думал он теперь, устремляясь во главе гвардейцев в прорыв вражеского строя и кроша австрийских гренадер шашкою (их шашки скользили по его эполетам, как это было свойственно всей встречной ему стали), – я защитил честь отца и всей семьи. Быть может, теперь мать не захочет знать меня; быть может, и сестра, которая всё ещё любит Танлея, не простит мне дуэли – что ж! Бонапарт надеется женить меня на какой-то своей избраннице, которую не успел назвать, но которая, по его мнению, стоит больше, чем его сёстры. Для отцовской семьи я сделал всё, что мог; пора заводить свою, а у матери останется мой храбрый братишка – хотя он тоже палил в Лепретра, но не вынуждал к этому её. Мать отречётся от меня, если посмеет, – но этим она предаст память отца, как предала бы её, спасая Лепретра. Будь что будет!»

И он снова взмахнул клинком. Несколько австрийских солдат толпились около расколотого зарядного ящика; один из них выстрелил в Ролана в упор, но промахнулся, а тот продолжал с горечью думать:

«Будь что будет? Увы, я знаю, что будет. Я женюсь; я заведу детей; получу генеральский чин; буду обязан долее пребывать в Париже, чем на поле боя. Кто знает, быть может, мой проклятый хранитель и дальше станет оберегать меня от славной гибели? Нет, я умру, не стаскивая сапог, – проклятая жила порвётся, когда я буду лежать в постели с выбранной первым консулом для меня супругой.

Наутро она поднимет вой; приедет врач; засвидетельствует «скоропостижную смерть, последовавшую от естественных причин»; меня похоронят с треуголкой на гробу, под звуки оркестра, но без пули в голове, на парижском кладбище... К дьяволу!»

Он направил пистолет в отверстие зарядного ящика и спустил курок. Выстрела не последовало – пистолет дал осечку, что в то время случалось значительно чаще, чем можно подумать по романам. Но Ролан не заметил этого – страшная боль сжала его грудь, и предательская жила, столько времени истязавшая его плоть, а ещё более того душу, разорвалась. Ролан рухнул, и в ту же минуту чья-то шальная пуля угодила в ящик, в который он перед этим целился, и оглушительный взрыв испепелил живые и мёртвые тела вокруг.

«Все усилия разыскать труп молодого адъютанта были напрасны: подобно Ромулу, он исчез в грозовой буре. Никто никогда не узнал, почему он так долго и ожесточённо искал смерти, пока наконец смерть не нашла его», – так заканчивает свой роман Дюма, и это истинная правда, ибо знающий причину чего-либо, но не верящий ей, подобен незнающему.